

Ф. Мориак

Мартышка

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Ф11

Ф11 **Ф. Мориак**
Мартышка / Ф. Мориак – М.: Книга по Требованию, 2023. – 38 с.

ISBN 978-5-4241-3141-7

Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.

ISBN 978-5-4241-3141-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023
© Ф. Мориак, 2023

— И ты еще смеешь говорить, что знаешь урок? Ты ровно ничего не знаешь!.. Извольте видеть, он учил урок! Учил? Наизусть выучил?

Раздался звук пощечины.

— Марш в свою комнату! И до обеда не смей показываться мне на глаза!

Мальчик схватился за щеку и завизжал так отчаянно, как будто ему сломали челюсть.

— Ой-ой-ой! Больно! (Выгоднее было преувеличить силу удара.) Вот я скажу бабусе...

Рассвирепев, Поль схватила сына за худенькое плечико и залепила ему вторую пощечину.

— Ах, ты бабусе скажешь? Бабусе? Пойди еще папочке своему пожалуйся! Ну? Чего ты ждешь? Вон отсюда!

Мать вытолкнула его в коридор, захлопнула дверь, потом снова открыла и вышвырнула учебник и тетрадки. Мальчик с громкими всхлипываниями подобрал их, ползая по полу. Потом настала тишина, из темноты только чуть слышно доносились всхлипывания. Убрался-таки наконец!

Мать прислушивалась к удаляющемуся топоту детских ног. Конечно, к отцу он не побежит искать сочувствия и защиты. Бабушки, его драгоценной «бабуси», нет дома — как раз пошла по его делам к учителю. Значит, побежал на кухню плакаться фрейлейн. Наверно, сейчас «вылизывает какую-нибудь кастрюльку», а старуха-австриячка смотрит на него жалостливым взглядом. «Так и вижу его...» Когда Поль думала о своем сыне, она представляла себе только его кривые коленки, его тонкие, как спички, ноги, носки, спустившиеся на ботинки. Она совсем не замечала, что у заморыша, которого сама произвела на свет, огромные бархатистые, темные глаза, зато с отвращением смотрела на его рот, вечно полуоткрытый, как у всех детей, которым мешают дышать полипы, на его нижнюю губу, правда, не такую отвислую, как у отца, но все же напоминавшую матери рот ненавистного ей мужа.

Опять в ней закипела бешеная злоба — злоба, а может быть, чувство отчаяния. Иной раз не так легко отличить отчаяние от ненависти. Она возвратилась в свою комнату и, остановившись на минуту перед зеркальным шкафом, оглядела себя. Которую уже осень она носит эту зеленую шерстяную кофточку, ворот совсем растянулся, всюду пятна. Сколько ни чисти, жирные пятна все равно выступают. К коричневой юбке присохли брызги жидкой грязи, перед вздернулся, как у беременной. Один бог видит, что это не так!

Она произнесла вполголоса: «Баронесса де Сернэ. Баронесса Галеас де Сернэ. Мадам Поль де Сернэ...»

Губы ее тронула улыбка, от которой ничуть не просветлело желчное лицо, покрытое заметным пушком над губой и по подбородку — парни в деревне посмеивались над бакенбардами барыни Галеас. Поль де Сернэ усмехнулась, вспомнив, как тринадцать лет назад она, молоденькая девушка, точно так же стояла перед зеркалом и, чтобы легче было переступить роковой порог, твердила про себя: «Барон и баронесса Галеас де Сернэ. Господин Констан Мель-ер, бывший мэр города Бордо, и его супруга мадам Мельер честь имеют уведомить вас о бракосочетании своей племянницы Поль Мельер с бароном Галеас де

Сернэ».

Ни дядя, ни тетка, хотя им очень хотелось поскорее сбить с рук племянницу, не толкали ее на этот безумный шаг, напротив, даже отговаривали. Кто же внушил ей почтение к дворянским титулам? Может быть, она вынесла его из лица? Какому побуждению она поддалась? Теперь она уже не могла бы этого сказать. Может быть, в ней заговорило любопытство, захотелось проникнуть в заказанную ей среду... Никогда ей не забыть: в большом сквере резвятся девочки, отпрыски родовитых семейств — Кюрзэ, Пишон-Лонгвиль, — но ты и не смей мечтать о дружбе с ними. Напрасно племянница мэра вертелась вокруг этих чопорных дурочек. «А мама нам не велит с тобой играть...» Вот взрослая девушка и решила отомстить за ту девчужку. Да еще казалось, что замужество откроет ей путь к чему-то неизведанному, к какой-то иной, удивительной, необыкновенной жизни. А теперь она прекрасно знает, что такое «замкнутая среда». Действительно замкнутая! Кажется таким трудным, почти невозможным проникнуть в нее, но попробуй-ка вырваться отсюда!

И ради этого испортить всю свою жизнь! Нет, не чувство сожаления, налетавшее временами, даже не мучительная мысль, ставшая наваждением, а именно вот эта непреложная очевидность, неотступное сознание своего идиотского тщеславия, преступной своей глупости, непоправимо смявших ее судьбу. Вот где разгадка всех ее бед! И в довершение всего она даже не стала «баронессой». Существует лишь одна баронесса Сернэ — старуха свекровь. А Поль, жена ее сына, навсегда осталась просто-напросто мадам Галеас. Приклеили ей нелепое имя какого-то кретина — теперь она навеки связана с ним, раз вышла за него замуж; его жалкая участь навсегда, навсегда будет и ее участью.

Даже ночью ее не оставляла мысль об этой насмешке судьбы, об этом ужасе: продалась из тщеславия и так обманута! Нет даже слабой тени удовлетворения честолюбивых надежд. И она все думала об этом, не спала до рассвета. Даже когда она пыталась отвлечься, придумывая какие-нибудь занимательные, иной раз непристойные истории, в голове у нее неизменно копошилась одна и та же мысль. Поль словно билась в темной яме, в которую сама бросилась очертя голову, и хорошо знала теперь, что ей уже не выбраться оттуда. Ночи были одинаково мучительны во всякое время года. Осенью в старых тополях, чуть не под самыми окнами спальни, протяжно ухали совы, будто выли на луну псы. Но во сто раз омерзительнее их воплей было безжалостное пение весенних соловьев. А утром, в миг пробуждения, особенно зимой, когда фрейлейн резким движением раздвигала на окнах занавески, вдруг так больно пронизывала сердце мысль, что судьба жестоко обманула ее: вынырнув из потемок сна, Поль видела за окном похожие на призраки деревья в лохмотьях ржавой листвы, раскачивавшие по ветру свои черные ветви.

И все же это были лучшие минуты за день! Можно было полежать в оцепенении дремоты, пригревшись под одеялом. Гийом охотно «забывал» зайти поцеловать мамочку. Нередко Поль слышала, как в коридоре свекровь вполголоса уговаривала мальчика зайти пожелать маме доброго утра. Старая баронесса терпеть не могла невестку, но не допускала нарушения традиций. Гийом робко входил в комнату и с порога со страхом устремлял взгляд на эту грозную голову, утопавшую в подушках, на эти черные, прилизанные на висках волосы, узкий, заросший, слабо очерченный лоб и на желтую щеку с родинкой, выглядывавшую

из-под темного пушка. Наклонившись, он быстрым поцелуем касался этой щеки и уже заранее знал, что мама торопливо вытрет ее и брезгливо скажет: «Опять всю обслонявил!..»

Поль не пыталась бороться с чувством брезгливости в отношении к сыну. Разве она виновата, что ее сын такое жалкое существо? И ничего нельзя с ним поделаться! Ну что можно сделать с таким слабоумным и скрытным ребенком, который к тому же всегда чувствует за собой поддержку бабушки или старой фрейлейн? Но, кажется, уже и сама баронесса начинает прозревать: согласилась, например, поговорить о мальчике со школьным учителем. Да-да, с учителем светской школы. Впрочем, выбора у них нет, священник обслуживал три прихода, да и жил в четырех километрах от усадьбы. Уже два раза, в 1917 и 1918 годах, после заключения перемирия, Гийома пробовали отдать в пансион: сначала устроили его в Сарла, к иезуитам, а потом отдали в семинарию в Нижних Пиренеях. Оба раза его через три месяца возвращали к родителям. Мартышка портил простыни. Учебные заведения, которые содержались духовными особами, не были приспособлены в те годы для воспитания отсталых или больных детей. А как примет старуху баронессу этот молодой кудрявый учитель, чудом уцелевший под Верденом? У него такие веселые глаза. Может быть, ему будет лестно, что сама баронесса пришла к нему в качестве просительницы? Поль не пожелала принять участия в этих переговорах — теперь она ни с кем не решалась встречаться, и больше всех она боялась этого учителя, прославившегося своими блистательными педагогическими талантами. Управляющий поместьем Сернэ, Артур Лусто, хоть и состоял в «Аксьон франсез», восторгался учителем, уверяя, что малый пойдет далеко... «Старая баронесса, — думала Поль, — как и все дворяне, выросшие в деревне, умеет говорить с крестьянами. Знает все тонкости местного диалекта. Пожалуй, одной из черточек обаяния, еще сохранившегося у нее, как раз является ее речь — все эти старинные слова и выражения, которые она произносит с каким-то старомодным изяществом. Да, но ведь школьный учитель — социалист, человек совсем другой породы; чрезмерная любезность баронессы, возможно, покажется ему оскорбительной. Людей этого сорта не возьмешь подчеркнутой учтивостью, якобы уничтожающей социальные различия. Впрочем, кто его знает. Он был ранен под Верденом. Это обстоятельство может сблизить его со старухой, ведь ее младший сын, Жорж де Сернэ, без вести пропал в Шампани».

Поль отворила окно и увидела в конце аллеи худую и сгорбленную фигуру свекрови. Баронесса шла, сильно налегая на палку. Черная соломенная шляпка забавно торчала у нее на самой макушке. Старуха медленно шествовала меж двух рядов старых вязов, пламенеющих в лучах заката, заливавшего своим светом и ее самое. Сноха заметила, что баронесса сама с собой разговаривает и жестикулирует. Значит, она очень взволнована, а это дурной признак. Поль спустилась по великолепной лестнице (гордость замка де Сернэ), расходившейся двумя полукружиями, и подождала свекровь в вестибюле.

— Это настоящий хам, моя милая! Хам! Как и следовало ожидать.

— Он отказался? Может быть, вы оскорбили его? Должно быть, держали себя чересчур высокомерно? Я же вам говорила и предупреждала...

Баронесса затрясла головой, словно отрицая обвинения снохи, на самом же деле это были те произвольные движения, которыми старики как будто гово-

рят «нет!» стоящей перед ними смерти. Белый матерчатый цветок смешно подпрыгивал на черной соломенной шляпке. В глазах старухи застыли слезы.

— А под каким предлогом он отказался?

— Говорит — некогда. Очень много времени отнимают обязанности секретаря мэрии...

— Да бросьте! Наверно, еще какие-нибудь причины приводил...

— Да нет, дитя мое, уверяю вас... Все время рассказывал, какой он занятой человек. Только о том и твердил.

Держась за перила, баронесса поднималась по лестнице, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Сноха шла за ней по пятам и с безотчетной бешеной злобой упрямо продолжала свой допрос. Заметив наконец, что совсем запугала старуху, Поль постаралась сбавить тон, но слова вырывались у нее с каким-то змеиным шипением.

— Почему же вы тогда сказали, что он вел себя по-хамски?

Баронесса присела на мягкую банкетку, поставленную на площадке лестницы; голова у нее по-прежнему тряслась, а губы искривила гримаса, похожая на усмешку. Поль опять принялась кричать. Да или нет? Назвала свекровь учителя хамом или не называла? Пусть скажет!

— Да нет, моя милая, нет. Я преувеличила... Может быть, я не так поняла его слова. Вполне возможно, что он говорил искренне... Может быть, я усмотрела намек там, где никакого намека и не было.

Поль прицепилась к этим словам. Что за намек? Какой намек? По поводу чего?

— Да вот, когда он спросил, почему мы не обратились к священнику. Я ответила, что священник живет далеко, что у него на руках три прихода. И вдруг, представьте себе, что мне заявляет этот школьный учитель... Да нет, вы, чего доброго, рассердитесь, дочь моя...

— Что он вам сказал? Извольте повторить слово в слово! Слышите?

— Ну, хорошо. Ухмыльнулся и сказал, что единственно в этом вопросе он полностью солидаризируется со священником, он, видите ли, не любит историй и не желает, чтобы у него были истории в нашем замке. Я сразу поняла, на что он намекает... Право, если б этот человек не получил ранения под Верденом, я, моя милая, уж будьте уверены, заставила его высказаться до конца и уж сумела бы вас защитить...

Злобное возбуждение снохи сразу утихло. Она понурила голову. Не сказав ни слова, она стремительно сбежала по лестнице и сдернула с вешалки свою тальму.

Баронесса выждала, пока хлопнула дверь, и вся просияла в улыбке, обнажившей превосходно сделанные вставные зубы. Перегнувшись через перила, она буркнула: «Что, съела?» — и вдруг дребезжащим, но пронзительным, тонким голосом позвала:

— Галеас! Гийу! Детки!

Снизу, из недр людской и кухни, тотчас донесся ответный крик:

— Бабуся! Мамуленька!

Отец и сын взбежали по лестнице совсем бесшумно, потому что оба скинули деревянные башмаки в кухне и остались в толстых шерстяных носках. Призыв старухи означал, что враг на короткое время удалился. Можно собраться всем вместе и посидеть у огонька в уютной бабушкиной комнате.

Галеас взял мать под руку. У него были узкие и покатые костлявые плечи, обтянутые коричневой вязаной фуфайкой, слишком большая по росту голова с целой копной волос, довольно красивые глаза, смотревшие каким-то детским взглядом, и уродливый, вечно открытый рот с мокрыми губами и толстым языком. Он был худ как скелет — брюки болтались на его тощих ногах, свисали сзади крупными складками.

Гийом ухватился за свободную бабушкину руку и терся щекой о ее ладонь. Из разговора взрослых он уловил только то, что было важно для него: школьный учитель не хочет давать ему уроки. Значит, не надо будет трепетать перед учителем, страшная тень чудовища удалась. Все остальное он не совсем понял. Бабушка сказала: «Я подпустила твоей супруге шпильку...» Что это значит — «подпустила шпильку»? Какую шпильку? Все трое вошли в свою любимую бабушкину комнату. Гийом тотчас прошмыгнул в свой заветный уголок — между кроватью и скамеечкой, на которую бабушка во время молитвы преклоняла колени. Верхняя крышка скамеечки открывалась, там был устроен шкафчик. Здесь хранилась целая коллекция старых четок: одни четки были из перламутра, их благословил сам папа Римский; другие четки — из оливковых косточек, бабушка привезла их из Иерусалима. Была там еще металлическая шкатулка с изображением Собора святого Петра в Риме — воспоминание о крестинах: на шкатулке блестело серебряными буквами имя Галеаса. Были у бабушки еще молитвенники с множеством картинок, с которых улыбались лица каких-то неживых людей. Бабуся и папа шушукались у стола, освещенного висючей лампой. В камине жарким огнем горели сухие виноградные лозы; дрожащие отсветы пламени освещали все углы комнаты. Бабушка достала из ящика круглого столика засаленные пасьянсные карты.

— Ну, сегодня хоть вздохнем спокойно. До ужина она не вернется. Можешь поиграть на пианино, Галеас...

И бабушка углубилась в раскладывание пасьянса. Пианино перенесли в ее комнату, и без того заставленную всякой мебелью, по требованию Поль: она не выносила, когда ее муж «бренчал» на пианино. Гийому заранее было известно, какие марши, вальсы и этюды будет играть отец, все эти музыкальные пьесы следовали одна за другой в неизменном порядке. Сначала раздавались звуки «Турецкого марша». Гийоу уже знал, в каком месте отец собьется, и каждый вечер ждал этой фальшивой ноты. Иногда Галеас, не прерывая игры, перебрасывался с бабушкой краткими репликами. Его бесцветный голос казался еще тусклее.

— Скажите, мама, этот учитель красный?

— Лусто говорит, просто ужас какой красный.

Мелодия «Турецкого марша» заковыляла дальше. Гийом старался представить себе этого красного человека, измазанного с головы до ног бычьей кровью. Правда, он несколько раз его встречал, вечно ходит без шляпы, прихрамывает и опирается на красивую палку черного дерева. Должно быть, это из-под одежды не видно, что он красный. А сам красный, как рыбки в аквариуме. Сквозь задернутые занавески еще пробивался сумеречный свет. Мама будет бродить в полях до самого ужина. Она всегда где-то бродит, если рассердится. Вернется растрепанная, в забрызганном грязью платье, от нее будет пахнуть потом. Как только встанут из-за стола, уйдет к себе в спальню и ляжет в постель. До ужина еще долго, можно посидеть у бабушкиного камелька. В комнату вошла фрейлейн —

высокая, толстая, рыхлая старуха. Она всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы побыть с ними, пока общий враг носится где-то по дорогам. Какие подать каштаны? Вареные или жареные? Не надо ли сварить яичко для Гийу? Фрейлейн приносила в бабушкину комнату запах лука и кухонного чада. Мнение хозяев она спрашивала только для порядка: яйца для Гийу все равно были бы поданы к обеду (с начала войны мальчика стали звать Гийу, потому что он, на свое несчастье, был тезкой кайзера Вильгельма, или «кэзера», как произносила бабушка).

И сразу разговор пошел о ней: «А ока мне, значит, сказала: «У вас на кухне грязно». А я ей говорю: «Уж извините, но на кухне хозяйка я...» Гийу наблюдал за взрослыми: бабушка и папа, вытянув худые шеи, внимательно слушали фрейлейн. Ему-то самому были совершенно не интересны такие истории, он не чувствовал к другим людям ни ненависти, ни любви. Бабушка, отец и фрейлейн создавали вокруг него зону безопасности, откуда мать яростно старалась его извлечь, как хорек, нападающий на кролика, забившегося в самую глубину норы. Ошеломленному, испуганному зверьку волей-неволей приходилось выползать из своего спасительного убежища, терпеть нападки рассвирепевшей женщины; он весь съеживался и покорно ждал, когда пройдет гроза. Однако благодаря междоусобной войне, никогда не затихавшей в доме, мальчик пользовался относительным покоем. Он прятался за широкую спину фрейлейн, и старуха-австриячка простирала над ним благодетельную сень своего грубоватого покровительства... Комната бабуся представляла собой более надежное убежище, чем кухня, но безошибочное чутье говорило мальчику, что не стоит слишком доверять бабушкиным ласкам или словам. Одна только фрейлейн любила своего «цыпленочка», своего «утеночка» неизменной, нерассуждающей материнской любовью. Она до сих пор мыла его в ванне и терла намыленной перчаткой, не жалея своих шершавых заскорузлых рук.

Выбежав из подъезда, Поль свернула на тропинку, которая шла влево от крыльца, и, никем не замеченная, вышла задами на узкую, почти всегда пустынную дорогу. Она шла решительным мужским шагом, с какой-то странной торопливостью, хотя ей никуда не нужно было спешить и некуда было идти. Но быстрая ходьба помогала ей вникнуть в слова учителя, которые пересказала свекровь, а в словах этих, несомненно, заключался намек на ее отношения с прежним приходским священником.

Никогда не исчезающую горечь сознания, что она сама виновата в своей злосчастной судьбе, еще можно было бы перенести, если б в первые же годы замужества на нее не обрушился незаслуженный позор; и теперь уже ничего нельзя было сделать — в глазах всех она несла на себе клеймо не совершенного ею греха, низкого, а главное, смешного проступка. Но виновниками клеветы, ее замаравшей, были на сей раз не муж и не баронесса, и она ничем не могла отомстить своим неведомым врагам. Лишь один раз она видела в церкви этих главных викариев, этих каноников, считавших сноху баронессы де Сернэ особой, пагубной для священнослужителей. Гнусную выдумку разнесли по всей епархии. В Сернэ уже сменилось три священника, и каждому епархиальное начальство напоминало, что теперь служить мессу в домовой часовне замка в Сернэ не дозволено: невзирая на блеск прославленного, знатного имени, надлежит, соблюдая все правила учтивости, сторониться этого семейства, ибо «всем памятен

разыгравшийся скандал».

Уже много лет из-за мадам Галеас в часовне баронов де Сернэ не отправляли богослужения; это обстоятельство ничуть не огорчало Поль (наоборот, поскольку приходская церковь была расположена довольно далеко, можно было под этим предлогом и вовсе туда не заглядывать). Но ведь на десять лье в округе все прекрасно знали, почему часовня попала под запрет: из-за невестки старой баронессы, у которой была история с приходским священником. Более снисходительные добавляли, что, конечно, никто не знает, как далеко зашло дело. Не хочется верить, что тут было что-то дурное. Но, во всяком случае, священника пришлось перевести в другой приход...

Стволы деревьев потемнели, но на горизонте еще алела полоска заката. Уже давно Поль не обращала внимания на деревья, на облака, на широкие дали. Если она иной раз и вглядывалась в них, то как вглядываются крестьяне, чтобы угадать, какая завтра будет погода, холодно будет или тепло. В ней умерла та частица души, которая когда-то так жадно воспринимала весь зримый мир. Когда-то в такой же самый час она шла той же самой дорогой рядом со священником, высоким, тощим и совсем наивным юнцом. Он вел свой велосипед за руль и вполголоса разговаривал с Поль. Крестьяне, видевшие их прогулки, не сомневались, что они ведут любовные разговоры. Но у них и речи не было о любви. Просто встретились в жизни два несчастных и одиноких существа.

Поль услышала за поворотом дороги веселый хохот: шла деревенская молодежь — парни и девушки, они подходили все ближе; Поль бросилась в лесок, чтобы их не видеть, чтобы они ее не увидели. Совершенно такое же безрассудное бегство возбудило в прошлом первые подозрения, когда она свернула однажды на боковую дорожку, увлекая за собой спутника. Сейчас земля была сырая, но Поль всё же присела под каштаном на груды желтых опавших листьев и, подтянув колени к подбородку, обхватила их руками. Где он теперь, этот несчастный мальчишка, этот священник? Она не знала, что с ним, где он мучается, но если он еще жив, то уж, конечно, мучается. А ведь ничего между ними не было, совсем не это их связывало. Интрижка со священником казалась ей немыслимой. Поль с детства внушали отвращение к сутане. А это дурачье ни с того ни с сего причислило ее к каким-то маньячкам, которые гонятся за служителями церкви. И теперь уже не сорвать с себя этот ярлык. А он, бедняга, — в чем была его вина? На горькие излияния молодой женской души он отвечал не советами духовного пастыря, а сам открывал ей душу: вот и все его преступление. Она искала у него поддержки — это было ее право; он же отнесся к ней, словно потерпевший кораблекрушение, выброшенный на необитаемый остров и вдруг увидевший, как на берег выходит другой несчастный, его сотоварищ в беде.

Она так и не поняла как следует тайные причины отчаяния этого священника, еще сохранившего юношеский облик. Насколько Поль могла судить (а такого рода вопросы ее не интересовали), он считал себя выброшенным из жизни, никому не нужным, бесполезным. В нем зародилась ненависть к косной крестьянской среде; он не умел говорить с этими толстокожими людьми, у которых на уме был только свой надел и которые ничуть не нуждались в духовном наставнике. Эта отчужденность сводила его с ума. Да, он почти помешался от одиночества. И господь бог не пожелал ниспослать ему помощь. А ведь этот болезненный юноша рассказывал Поль, что принял решение пойти в священники в минуту

экстаза, когда почувствовал, что его осенила «благодать божия», как он сам выражался, что с тех пор, как он принял сан, ничего подобного с ним не повторялось, и таким образом попался в силки... Словно кто-то заманил его в ловушку. Поймал, а потом и думать о нем забыл. Так по крайней мере Поль истолковала его жалобы. Но все это принадлежало, по ее мнению, к совершенно нелепому, «немыслимому» строю чувств. Она рассеянно слушала сетования своего собеседника, и, лишь только он умолкал, чтобы перевести дыхание, она сама начинала жаловаться: «А у меня...» — и вновь на все лады перебирала историю своего замужества. Однажды, когда они беседовали в саду церковного дома, он, едва не лишившись чувств от слабости, на краткое мгновение опустил голову ей на плечо. Она тотчас же отстранилась. Но сосед увидел их. Все от этого и пошло. Из-за такого пустяка (а ведь из-за него, должно быть, перевернулась вся жизнь этого юноши) никогда больше не затеплится лампада в алтаре домового часовни усадьбы Сернэ. Старуха баронесса даже почти не роптала против этого запрещения, как будто считая его вполне естественным: для бога стало неудобным пребывание в Сернэ с тех пор, как там поселилась жена ее сына, урожденная Мельер.

В роще совсем стемнело. Поль дрожала от холода. Она поднялась и, отряхивая платье, вышла на дорогу. Меж темных верхушек елей показалась одна из башен замка — та, что была выстроена в XIV веке. Стало так темно, что повстречавшийся на дороге погонщик мулов и вправду не узнал ее.

Двенадцать лет она сносила позор грязной клеветы, распространявшейся о ней повсюду, и вдруг ей стало нестерпимо, что эти лживые наветы дошли до какого-то учителя, с которым она никогда и словом не перемолвилась. Она хорошо знала в лицо всех мужчин в окрестностях и любого узнала бы издали, но, должно быть, образ этого кудрявого незнакомца, образ школьного учителя, глубоко запал ей в душу и запомнился, хотя она даже не знала его имени. Впрочем, ни учитель, ни священник не нуждаются в именах — исполняемые обязанности вполне достаточно их определяют. Поль не могла примириться с мыслью, что учитель еще один лишний день будет считать правдой те мерзкие слухи, которые о ней распустили. Она решила рассказать ему всю правду. Ее снова томила потребность излить все, что накалилось в душе, сбросить невыносимое бремя, — та же мучительная потребность, которая двенадцать лет назад толкнула ее на откровенные и неосторожные признания человеку слишком молодому и слабому. Придется побороть свою робость, пойти к учителю и еще раз обратиться к нему с просьбой, в которой он отказал старухе баронессе. Может быть, он согласится. Во всяком случае, они познакомятся, а возможно, и сблизятся.

Она повесила тальму в вестибюле. Обычно она мыла перед обедом руки под краном в буфетной, а потом шла в столовую для прислуги, со времен смерти Жоржа, младшего сына баронессы, служившую для господских трапез. Парадная столовая, огромная и холодная, как погреб, отпиралась только на рождество и в сентябре, когда из Парижа приезжали гости: старшая дочь баронессы, графиня д'Арби, с детьми и маленькая Даниэль, дочка покойного Жоржа. Тогда два сына садовника облачались в ливреи, баронесса нанимала кухарку, брала для парижан напрокат двух верховых лошадей.

Но в этот вечер Поль хотелось начать поскорее спор по поводу учителя, и она направилась не в столовую, а в комнату свекрови, в которую заглядывала не больше десяти раз в год. У двери она в нерешительности остановилась на ми-

нутку, прислушиваясь к веселому гулу голосов трех заговорщиков и звукам пианино, на котором Галеас наигрывал одним пальцем мелодию какой-то песни. Явственно раздался голос фрейлейн. По-видимому, она отпустила какую-то шутку, потому что старуха баронесса громко засмеялась своим снисходительным и деланным смехом, который Поль ненавидела. Тогда она, не постучавшись, распахнула дверь и вошла. В комнате сразу все замерли, как заводные фигуры на старинных часах. Баронесса застыла с поднятой рукой, в которой держала карту. Галеас, захлопнув крышку пианино, круто повернулся на табурете. Фрейлейн обратила к недругу свое широкое лицо и всем своим видом напоминала кошку, которая, увидев перед собой собаку, смотрит на нее, прижав уши, выгнув дугой спину, — вот-вот фыркнет. Гийу, вырезавший из журнала картинки с аэропланами, бросил ножницы на стол и снова забился в свой уголок между спинкой кровати и скамеечкой. Там он сжался в комочек и оцепенел, как неживой.

Все это было для Поль привычно, но еще никогда она так ясно не чувствовала силу своей пагубной власти над тремя этими существами, с которыми ей приходилось жить. Однако старая баронесса быстро оправилась от страха и, криво улыбаясь, заговорила со снохой с подчеркнутой, слащавой любезностью, словно обращаясь к постороннему человеку, занимающему подчиненное положение. Бедняжка Поль, наверно, совсем промокли ноги, пусть скорее сядет у огня погреться и обсушиться.

Фрейлейн заворчала, что не стоит задерживаться, сейчас она подаст суп. Как только фрейлейн двинулась к двери. Галеас и Гийом бросились за нею следом. «Ну, разумеется, — подумала баронесса, — оставили меня одну на съедение».

— Разрешите, дитя мое... Я сейчас поставлю у огня экран, а то еще вылетит искра.

У порога она деликатно посторонилась, ни за что не пожелала выйти первой и все время говорила, говорила, так что сноха, пока не сели за стол, не могла вставить ни слова. Галеас и Гийу уже ждали их, стоя у своих стульев, а как только сели, принялись шумно хлебать суп. Баронесса то и дело обращалась к ним, призывала их в свидетели того, что вечер необыкновенно теплый и что в ноябре в Сернэ никогда не бывает холодов. Как раз сегодня она начала варить варенье из дыни. Нынче она собирается добавить к дынному варенью сушеных абрикосов.

— Хочу взять тех самых, которые мой бедный Адемар так забавно называл «старушечьи уши». Помнишь, Галеас?

Баронесса говорила, говорила, лишь бы только не молчать. Для нее важно было одно: помешать Поль снова начать пререкания. Но, исподтишка наблюдая за снохой, она заметила на ее ненавистном лице опасные признаки раздражения. Гийом сидел, втянув голову в плечи, чувствуя, что мать не спускает с него глаз. Он тоже чуял надвигающуюся грозу и догадывался, что речь пойдет о нем. Напрасно он старался слиться как можно плотнее со столом, со стулом, он чувствовал, что бесконечные бабусины речи не могут заполнить зловещих минут молчания, что они слишком слабая преграда для грозного потока слов, готовых прорваться из-за плотно сжатых губ противника.

Галеас ел и пил, не поднимая глаз, так низко нагнувшись над тарелкой, что Поль видела перед собой только копну сидящих волос. Он сильно проголодал-

ся, так как весь день работал на кладбище, наводя там порядок, — это было его любимым занятием. Благодаря ему на кладбище в Сернэ все могилы были ухожены. Галеас чувствовал себя спокойно, жена теперь совсем не замечала его, ему повезло: она вычеркнула его из своей жизни. Поэтому только он один держал себя за столом непринужденно и мог безнаказанно исполнять все свои прихоти: «делать бурду» (наливать вино в суп), изобретать всякого рода смеси, «мешанину», как он говорил. Он крошил, раздавливал, разминал каждое кушанье, размазывал его по тарелке, и баронессе стоило большого труда удерживать Гийома от подражания отцу, причем в своих наставлениях она старалась не умалять отцовского авторитета: «Папа имеет право делать все, что он хочет», «Папа может позволить себе все, что ему угодно...» А Гийу должен держать себя за столом как благовоспитанный мальчик.

Гийу и на ум не приходило судить отца, он даже помыслить об этом не мог. Папа принадлежал к совсем особой породе взрослых — к разряду безопасных, которых можно не бояться. Таково было мнение Гийу, хотя он и не умел его выразить. Папа все делал бесшумно, не мешал Гийу рассказывать самому себе увлекательную историю, даже мог сам войти в фабулу на манер безгласного и безвредного персонажа вроде вола или собаки. Зато мать насильно врывается в его внутренний мир и оставалась там наподобие инородного тела, присутствие которого чувствуется не всегда, но вдруг безошибочно обнаруживаешь пораженный им участок. Вот она произнесла его имя... Началось! Опять будут говорить о нем. Мать упомянула имя учителя. Гийом пытался понять, о чем идет речь. Бедного кролика схватили за уши и вытащили из норы на свет, на яркий, ослепительный свет, привычный для взрослых.

— Так вот, дорогая мама, скажите, пожалуйста, что вы намерены делать с Гийомом? Думали вы о его будущем? Вы же знаете, он умеет читать, писать, считает с грехом пополам. И только. А ведь ему тринадцатый год!.. Куда это годится?..

По мнению баронессы, ничего еще не было потеряно. Следовало осмотреться, поразмыслить...

— Но ведь его уже выгнали из двух коллежей. Вы уверяете, что здешний учитель не хочет давать ему уроки. Остается только одно: нанять гувернера или гувернантку. Пусть живет тут и занимается с Гийомом.

Баронесса живо запротестовала. Нет-нет, не надо вводить в дом посторонних... Она трепетала при мысли, что появятся свидетели их жизни в Сернэ, той ужасной жизни, которая установилась в замке с тех пор, как Галеас дал свое имя этой фурии.

— А у вас, моя милая, есть какой-нибудь план?

Поль залпом выпила рюмку и налила себе еще вина. С первого же года женитьбы Галеаса баронесса и фрейлейн заметили, что их враг питает склонность к алкоголю. Фрейлейн стала отмечать карандашом уровень вина в бутылке, тогда Поль начала прятать в своем шкафу водку и ликеры: анисовку, шерри, кюрасо. Старуха фрейлейн обнаружила и их. Баронесса сочла своим долгом предостеречь «дорогую дочь», указав ей на опасность злоупотребления крепкими напитками, но тут Поль устроила такой скандал, что свекровь уже никогда больше не поднимала этого вопроса.

— Я считаю, дорогая мама, что нам ничего другого не остается, как хоро-